



Дана Дуана

ПОСЛЕДНИЙ КАБАН
ИЗ ЛЕСОВ ПОНТЕВЕДРА

ОБЩЕННАЯ
18+
ЛЕКСИКА

Дина Рубина

**Последний кабан из
лесов Понтеведра**

«ЭКСМО»

1998

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Рубина Д. И.

Последний кабан из лесов Понтеведра / Д. И. Рубина — «Эксмо»,
1998

ISBN 978-5-04-138845-4

В жизни каждого писателя случаются удивительные минуты, когда собственный замысел поглощает его, затягивая в самую сердцевину сюжета; когда автор начинает ощущать себя одним из действующих лиц им же сочиненной истории; когда, познакомившись с человеком, он с изумлением обнаруживает перед собой именно тот тип лица, те движения, походку – короче, живого персонажа, которого недавно сам и сочинил. Со мной это происходило несколько раз за мою огромную писательскую жизнь. Впервые это произошло при написании романа «Последний кабан из лесов Понтеведра». Испания... Снова – Испания... И если есть страна, где я всегда настороже, так это она... Дина Рубина

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-138845-4

© Рубина Д. И., 1998
© Эксмо, 1998

Содержание

Часть первая	5
Глава первая	5
Глава вторая	10
Глава третья	20
Глава четвертая	25
Глава пятая	29
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Дина Рубина

Последний кабан из лесов Понтеведра

Камни их сохранили величие, люди – нет.
Вторая Книга Царств

Часть первая

– Да, вы правы, – повторил он. – Бывают ситуации, из которых самый достойный выход – самоубийство. Только говорить об этом нельзя.

– А... как же?

– А молча, – сказал он. – По молчаливому уговору. Если совсем приперло.

Иисус Христос
В личной беседе

Глава первая

*Сладкогласно поющий хуглар,
Находчивый и беззастенчивый,
Бродит, коротко стриженный,
И отлично знает свое дело.*

Кантиги святой Марии (XIII–XIV вв.)

Моя должность, в сущности, называлась «Дина из Матнаса». Я так и представлялась, когда телефонными звонками собирала на концерты-лекции местных пенсионеров: здравствуйте, вас беспокоит Дина из Матнаса. (Вас беспокоит дурочка из переулочка, Саша с «Урал-маша», дунька с водокачки, халда с помойки.) Это была половина ставочки такой – координатор русской культурной жизни.

Например, я обеспечивала стариков легкой классической музыкой. Программы были не из утомительных: что-нибудь «Сентиментальный вальс» Чайковского, «Полонез» Огинского, «Хабанера» Кармен, «Турецкое рондо» Моцарта.

Они слушали так, что сердце радовалось. Хлопали, требовали биса. После концерта обступали меня шумной толпой, благодарно галдели, по плечу гладили. Спасибо товарищу Моцарту за нашу счастливую старость.

Культура культурой, но эти полставочки, доложу я вам, обернулись каторгой почище валки таежного леса; и не только потому, что еврейские старики – народ нелегкий (а культурную-то работу среди них в основном надо было проводить), но и потому, что обнаружились еще кое-какие обязанности, сваленные на меня руководством Матнаса.

Как вам словечко, кстати? Ни один из языков не напоминает так вывернутый для просушки русский, как иврит, древнееврейский наш язык. А возможно, русский – это вывернутый

иврит, тем более что возрастную субординацию на кривой козе не объедешь. Словом – **Матнас**. Такой вот «матрас с поносом, носок с атасом, матом нас он послал».

А в переводе на русский – Дворец культуры и спорта.

Я туда случайно попала, и если вдуматься – все в моей жизни происходит абсолютно случайно.

Просто мне позвонила Милочка, которая работала в этой должности.

Она в то время «стояла родить». Есть в иврите такой изумительно образный идиоматический оборот. Когда человек совсем уже собрался, вот-вот подготовился к чему-то важному. Например, говорят «он стоит жениться» – какая точность, какой синтез смысла и образа! Так что Милочка совсем уже «стояла родить», то есть ползала на последних днях, то и дело останавливаясь и отдыхая.

С ее лица никогда не сходила гримаска ленивой истомы. Невозможно было представить, как она с этаким лицом собирается рожать. Ведь эта работа требует от исполнителя, как правило, прямо противоположной гримасы. Словом, позвонила Милочка и спросила, не хочу ли я заместить ее на те три месяца отпуска, что полагаются после родов. Работа плевая, добавила она, полставочки, тысячи две в месяц.

И я согласилась.

Обстоятельства мои на земле предков сложились таким образом, что я веду жизнь шабашника – сезонного рабочего. Иногда выезжаю на заработки в другие земли, где бывшие мои соотечественники и одноязычники еще жаждут слышать русскую речь. Время от времени нанимаюсь на какую-нибудь случайную работенку, что тоже не так просто, ведь я – человек без профессии, языков ихних не разбираю, да и трудиться по-людски не очень-то приспособлена.

Но когда я «стою родить» очередное свое литературное дитя, судьба волевым решением освобождает меня от сезонных работ – меня вдруг выгоняют из газеты или еще откуда-нибудь, где я получала ежемесячно свои неизменные две тысячи шекелей. И я переживаю, конечно, и бессонными ночами думаю – где и чем добыть средства на пропитание семье, а между тем очередное литературное дитя уже прет из меня на свет божий, разрывая утробу, и страшная гримаса тяжелых родовых усилий месяцами не сходит с моего лица.

И вот новорожденный роман вылизан моим шершавым языком и пристроен к хорошим людям в какой-нибудь журнал, где поднимается на слабые ножки и ковыляет прочь уже без моей помощи, и уходит все дальше, дальше, пока не убегает от меня

...навсегда.

И тогда мне обязательно звонят. И предлагают полставочки какой-нибудь пустяковой работенки, например – должность временного координатора русской программы в городском Дворце культуры и спорта...

– А что еще я должна делать?

– Ну, экскурсию организуйте им раз в месяц, к Мертвому морю. Пусть мозоли попарят... – Милочка удобней устроила живот на коленях, лениво и мягко поправила упавшую на лоб прядку.

Мы сидели в лобби Матнаса в ожидании встречи с замдиректора. Милочка привела меня знакомить.

– Еще есть матери-одиночки, их тоже надо пасти, публика требовательная... Есть молодежный клуб, где отдельной группой – десятка три омерзительных подростков из России – пьют, сквернословят, травку покуривают.

– С ними тоже надо что-то делать? – испугалась я.

– Нет, у них есть свой координатор, Люсио. Но иногда полиция требует списки.

Мне захотелось немедленно покинуть этот гостеприимный дом.

– А вот, обратите внимание, как раз и Люсио!

В двери Матнаса вкатился уморительно смешной человечек. Он переваливался с боку на бок, энергично притоптывая ножками, а коротенькими ручками как бы отталкивался от невидимых стен по бокам.

– Забавный... – пробормотала я, провожая взглядом человечка и пытаюсь понять, кого он мне напоминает. – И вы хотите сказать, что с этакой-то внешностью он – координатор молодежной группы? Тех самых проблемных подростков?

– Вообразите, дети его очень любят. Он большой шутник, артист, забавник, мастер на все руки... Да не волнуйтесь, все будет хорошо, – проговорила Милочка с гримаской ленивой истомы. – В сущности, все они милые. Только не отлынивайте от заседаний коллектива. Каждый четверг, в девять. Это очень важно. Сидите и не вмешивайтесь. Кто бы с кем ни сцепился – не лезьте разнимать. И главное, ничему не удивляйтесь. В сущности, все они быдло. Пойдемте, я кабинет ваш покажу. Мне его Таисья выделила от щедрот душевных.

– Таисья – это координатор? – с ученической понятливостью уточнила я.

– Нет, это директор консерваториона.

Консерваторион! – дуновение времен римского владычества на этой земле: не театр, а «театрон», не музей, а «музеон». Цезарион! Иродион! – жажда величия пространства у пленников крошечных земельных наделов. Консерваторионом здесь называется обычная музыкальная школа. Впрочем, забегая вперед, скажу: консерваторион Матнаса насчитывал двести пятьдесят учеников, хозяйство по нашим масштабам немаленькое.

Мы стали подниматься на второй этаж, останавливаясь чуть ли не на каждой ступеньке, переводя дыхание и поддерживая живот.

Где-то наверху кричали истерзанным низким голосом. Внезапно крик обрывался, и кто-то вступал убеждающе ласковым тоном. Похоже, там шла тяжелая разборка между двумя женщинами – абсолютно разными по возрасту, характеру и воспитанию. Когда мы поднялись еще на один лестничный пролет и до нас стали доноситься отдельные слова, я совсем смутилась.

– Ну, скажи, ну, давай! Сука, су-ука дол-ба-ны-я-а!! Не квартира тебе! Не квартира, а хер тебе в глотку-у!!

Затем – секундная тишина, и успокаивающее, даже баюкающее контральто:

– А в legato – третьим и четвертым пальчиком попеременно, и локоток чтобы не опустился, и плечико не задирать. Обязательно, детка, проследи...

И – без паузы на это:

– Заткнись! Заткнись, я сказала! Зат!.. Зат!.. Пи-и-до-ор! Пидор гнойны-ый!

И вновь – тишайшее умиротворенное журчание, так что и слов не разобрать.

– Это кто? – спросила я потрясенно.

– Таисья, – улыбнулась Милочка.

Дверь на второй этаж была открыта настежь, как и дверь кабинета напротив. Там за большим столом сидела женщина с пронзительным лицом молодого орла и вела беседу сразу по двум телефонам. В одну трубку она ревела и клочкотала, зажимая другую ладонью, затем меняла трубки, тембр голоса, выражение лица. Ноги ее при этом под столом ходили ходуном – при-

плясывали, притоптывали, постукивали одна о другую, словно она отпихивалась от назойливого, шkodливого домовенка, щиплющего ее за икры.

Наше появление в дверях не произвело на нее никакого впечатления. Глядя сквозь нас испуганными черными глазами, она продолжала надрывно вопить в трубку желтого телефонного аппарата:

– Пидор гнойный! Забудь свои вонючие мечты! А насчет квартиры – отсосешь у дохлого бедуина! Не бросай трубку, сука, я еще не все сказала! – И, приоткрыв ладонь на трубке серого телефона, нежнейшим тоном: – Нашла чем писать? Пиши, детка: Черни. «Искусство беглости пальцев»... Детонька, при чем тут «искусство беглых китайцев»? Слушай внимательно, золотко, повторяю...

Остаюсь, сказала я себе.

Передо мной сидел мой персонаж в совершенном, очищенном, абсолютно пригодном к употреблению виде. Ни тебе контрасты усиливать, ни тебе ненужное отбрасывать, ни тебе лексику индивидуализировать. Бери его, хватай, лелей и записывай, и благодари судьбу за подарок.

Она швырнула одновременно трубки обоих телефонов, упала головой на стол – так что я испугалась, не разбила ли она лицо, – и громко, горько и вдохновенно зарыдала.

– Таисья, ну... – Милочка обошла ее со спины, налегла своим большим животом, приподняла ей голову. – Ну, хватит!.. Кто станет читать его безграмотную писанину!

– Она гра... грамот-ная! – взвыла Таисья, мотая головой из стороны в сторону. – Он нанял Гришку Са-пожника на редактуру!

Постепенно вырисовывалась следующая ситуация.

У Таисьи есть папа. Папочка, папуля. Ты знаешь, что такое – восточный папа? Она всю жизнь ноги ему мыла. А он колотил ее, как бубен на свадьбе. Но она терпела – ведь это папа, родной любимый папа...

(Остаюсь!!)

И вот, понимаешь, надоело. Во-первых, этот старый пидор бьет мать. Но и это бы еще ничего. Во-вторых, хочет отобрать у матери квартиру – но это он отсосет у дохлого бедуина: у Таисьи есть адвокат, который вставит папе такого, что папа всю оставшуюся жизнь сидеть не сможет. А в-третьих, он написал книгу, где порочит ее, родную преданную дочь, самым гнусным образом. Например, пишет, что свою квартиру Таисья достала из ширинки третьего мужа.

(Остаюсь, остаюсь!!)

– Таисья, – сказала я, – а по-моему, это образно. Твой папа не лишен...

– А Гришка, Гришка – су-ука-а! Он же был мне как брат, ближе брата!

– Так заплати ему за более глубокую редактуру, – посоветовала Милочка. – Пусть переписет текст до неузнаваемости.

Таисья притихла, обеими ладонями вытирая мокрое лицо. Достала бумажную салфетку, громко и трезво высморкалась.

– Это – мысль, – проговорила она деловым тоном.

Отвлекусь на секунду: больше я о папе не слышала никогда. Ни о папе, ни о книге, которую он написал, ни о квартире, на которую он претендовал. Это может показаться странным, но такова была природа Таисьиного характера, ее творческая манера каждое утро заново строить сюжет своей жизни. Она как бы говорила себе: с этим все, отыграно. Сегодня... сегодня у меня будет вот что: любимая подруга, с которой пройдены огонь, воды и общие мужики, умирает от рака. И я подниму на ноги всех врачей «Хадассы», я достану такое лекарство, которым

лечат только президента Америки, я выбью для ее сыновей такую пенсию, о которой они и не мечтали...

И что тут начиналось! С утра звонили телефоны, Таисья рыдала, кричала, диктовала кому-то железным голосом, выпрашивала у кого-то что-то журчащим контральто.

Сидела ночами у постели умирающей, организовывала похороны, пристраивала дряхлую мать покойной в престижный дом для престарелых, остервенело и навзрыд добиваясь последнего: чтобы окна комнаты, куда вселят старушку, выходили на море, именно на море, и только на море... Часами сидела на казенном телефоне, крича директору дома престарелых:

– Чтобы последний взгляд этого дорогого мне человека – ты слышишь? – поклянись мне матерью! – был обращен в морскую даль!

После чего никто и никогда не слышал более ни о покойной подруге, ни о ее матери, ни о последнем взгляде, обращенном в морскую даль.

Наступало новое утро, сочинялся новый сюжет.

– Тая, вот, это – Дина, – сказала Милочка, – она меня замещать будет. Помоги советом, не дай в обиду, защити, если что... Ну, ты сама понимаешь.

Таисья достала пудреницу, открыла ее и принялась сосредоточенно выворачивать верхнее веко, гоняясь за упавшей ресницей. При этом ее красивое лицо приобрело еще большее сходство с молодым орлом.

– Ты вот что, советую, – сказала она, – приклейся к моей заднице и всюду за мной таскайся. Я тебя живо введу в курс дела.

Глава вторая

Вечернее низкое солнце все реже блещет на перевалах. Временами из боковых оврагов и ущелий, из-за скал и известковых бугров дует ветер – порывистый, как дыхание горячего. И только топот копыт раздаётся в гробовой тишине окрест, в скатах вдоль извилистого дна Вади-эль-Хот. «Отсюда начинается дебрь самая дикая, – говорит один старинный паломник. – Эта дорога есть древняя, проложенная самою природою. Иосиф Флавий упоминает о дикости ее. Невступно через два часа от Иерусалима мы поднимались на гору, на вершине которой видны остатки хана или гостиницы Благого Самаритянина. Это место называлось издревле Адомим или Кровавое, по причине частых разбоев, здесь происходивших... И глубокая тоска охватывает душу на этой горе, возле пустого хана, при гаснущем солнце...

На этой «середине пути», который считался путем в преисподнюю, плакал сам прародитель, лишенный Эдема...

Бунин И. А. «Пустыня дьявола»

Наши все места, соседняя горка. Который год живу я в «пустыне дьявола», на середине пути в преисподнюю, и, признаться, ничего более отрадного для глаз в жизни не видала.

Наш городок, вознесенный на вершину одного из самых высоких перевалов Иудейской пустыни, напоминает поднебесный мираж, возникающий перед путником в неотразимом обаянии белокаменных стен, черепичных крыш, ярко-травяных откосов, террас, балконов, лесенок, венецианских окон, башенок и арок. С нарочитой декоративностью новеньких пальм и ненарочитой прелестью двадцатилетних сосен, с рядами старых олив на каменных террасах, с развалинами монастыря Мартириус Византийской эпохи, – городок молод и полон очарования, как хорошенькое личико на глянцевои странице журнала мод.

Эта картинка могла бы и приторной показаться, если б не отрешенное величие пустынных гор вокруг, покрытых грубой шкурой убогого кустарника. Кроме того, во всем облике городка есть некая... труднодоступность – возможно, из-за высоты, на которой он расположен, возможно, из-за архитектуры нового района: полукруглый ряд домов с остроконечными крышами оцепляет вершину горы, как высоченная крепостная стена укрывает рыцарский замок.

Здесь каждый дом по-своему напоминает рыцарский замок. Жаркий засушливый климат и режущий свет пустыни диктуют архитектурные решения: жалюзи, навесы, узкие, как бойницы, окна спален.

Здание Матнаса тоже напоминало крепость: приземистый безыскусный замок с четырехугольной цитаделью, с хозяйственными постройками вокруг – не конюшни, но бассейн, не склады, но спортивные площадки.

Существовал и естественный ров – неглубокое ущелье, или, как называют это здесь, «вади», через который до недавнего времени был перекинут мост – не подъемный, конечно, но все же, все же... Правда, после того как в одну из его опор врезался самосвал, груженный бетонными блоками, мост, сообразуясь с причудливыми правилами местной техники безопасности, пришлось снять с опор и отволочь подальше.

Он так и лежит брюхом на земле на въезде в город – как кит, выбросившийся на берег, или как парусник, вынесенный на мель, озадачивая приезжих своей откровенной постмодернистской нефункциональностью.

А если учесть, что здание Матнаса нависало над дорогой и снизу – подпертое высокой каменной стеной – казалось одиноким и отделенным от жилых массивов, сходство его с замком усиливалось. Во всяком случае, мне сходство представлялось фатальным.

Впрочем, моему шелудивому воображению дай легонько коленом под зад – оно и покажется с горы, как брошенный снежок, обрастая по пути бог знает каким сором.

Первый мой рабочий день в Матнасе выпал на четверговое заседание коллектива. Вот написала «заседание коллектива» и чувствую – не то. На иврите эта еженедельная фантазмагория называлась «ешиват цевет», и хоть убейте меня, а это – при буквальном точном переводе – все-таки означает совсем иное. Другое звуковое наполнение смысла, а следовательно, и ассоциативных пазух воображения.

Случалось ли вам в детстве до одури играть в «слова»? Когда наперегонки ты пытаешься выжать из какого-нибудь длиннющего кудрявого причастия – как из выкрученной жгутом прополощенной простыни последние капли влаги – еще два-три коротеньких словца, еще одно, еще междометие! (Долгие дождливые вечера на застекленной дачной веранде. Немыслимые интеллектуальные усилия над словом «коллективизация». И были, были гиганты, выживающие из этого слова фразу «или Ицик взял кота?»!) А после машинально крутишь каждое мамино мимоходом брошенное слово, выкраивая из него бессмысленные лоскуты.

Местное звуковое пространство – ивритская языковая среда – для моего бедного русского слуха навечно озвучено двояко. Первородный смысл слова накладывается на похожее звучащее, но подчас противоположное по смыслу слово другого языка – так два случайно наложенных друг на друга кадра (техническая неисправность фотоаппарата) образуют некую фантастическую картинку. С детства отлитые в золотую форму воображения контуры слова расплываются, образуя дополнительные зрительные, слуховые и ассоциативные обертоны. Рождается странный гибрид другого измерения, влачащий за собою длинный шлейф иносмысловых теней...

Так вот, «ешиват цевет» – **«выцвел веток вешний цвет, вышил ватой ваш... кисет?.. жилет?.. корсет?..»**

Я поднималась по лестнице на второй этаж и вдруг услышала за собой дробный топот. Так бежит по лесу дикий кабан. Оглянувшись, я увидел карлика Люсио. Он и вправду был на удивление похож на кабана: сдвинутые к переносице створки заплывших глазок, широкие ноздри, срезанный подбородок. Он явно догонял меня, молча, сосредоточенно, не окликаая.

Я остановилась.

– Эй, привет!

– Привет... – сдержанно ответила я.

И гундосый голос, идущий как бы через ноздри, и кабанья голова, привинченная к нелепому тельцу хромого поросенка, вызывали у меня неопределенное, но настойчивое чувство опасности.

– Ты у нас теперь занимаешься этими... русскими? (Он сказал «олим», как и положено, так на иврите называются новые репатрианты. «Оле» – единственное число обезумевшего от перемены мира вокруг немолодого интеллигента. А также молодого неинтеллигента, а также всякого, кого подхватил этот ураган, проволока черт-те куда и поставил вверх ногами. «Оле. Оле-Лукойе, горе луковое, оля-ля, тру-ляля». «Оле!» – выкрик зрителей, одобрение испанской танцовщице, выгибающей спину в страстном фламенко. А во множественном числе – «олим». «Стада олим гуляли тут, олени милые, пугливые налимы».)

– Да, занимаюсь «русскими», – осторожно подтвердила я, пытаюсь понять – откуда катится несомненная и уже неотвратимая опасность.

Он смотрел на меня без выражения тусклыми серыми глазами, снизу вверх. Один рукав свитера почему-то натянул на кисть руки и поддерживал ее.

– Очень приятно. Я – Люсио.

И стал выпрастывать для рукопожатия руку из длинного рукава черного свитера.

Я дико заорала (что для меня не типично: в мгновения испуга я цепенею) и кинулась бежать вверх по лестнице. Меня пронизывали разряды обморочного омерзения и ужаса; продолжая орать, споткнулась о ступеньку, упала, ушибла локоть о перила...

Люсио ласково смеялся, продолжая протягивать мне вслед мертвую, изъеденную могильными червями кисть руки с длинными желтыми когтями, – тускло отсвечивал перламутровый обрубок кости на запястье, как оборванные провода, болтались веревки обглоданного сухожилия, и —

...нет, это уже вотчина кинематографа, я бессильна.

Карлик ласково смеялся, его двойной подбородок нежно подрагивал. Наконец умолк, бережно спрятал свой сюрприз поглубже в рукав и, пританцовывая, стал спускаться.

Я взбежала на второй этаж, в ужасе крича:

– Тая! Та-ая!! Та-а-ая!!

В этот утренний час коридор консерватории был пуст и тише.

– Чего ты орешь, – раздалось из-за какой-то двери.

– Тая, где ты?!

– Да здесь, в учительской.

В соседней двери провернулся ключ, и Таисья открыла. Она была по пояс голой. На обеих ее ладонях лежали богатейшие груди. Так узбек на рынке держит в каждой руке по золотистой увесистой дыне, приговаривая: «Диня сладкий пакпай, диня сахарный, миед!!»

– Заходи быстрее, я после аэробики моюсь. У нас тут – имей в виду – по четвергам в восемь аэробика. Ну, само собой, вспотеешь как лошадь, дай, думаю, вымя прополосну... Ты тоже ходи на аэробику, нервы укрепляет.

– Тая... там этот... карлик!..

– Э-эй, милка моя, да ты вся трясешься. Ты чего – испугалась? Он тебе что – свежесрезанный хер демонстрировал?

– Н-нет... Отрубленную руку мертвеца.

– А-а... Со мной он знаешь как знакомился? Приятно, говорит, работать вместе с такой роскошной женщиной. Хотелось бы рассмотреть коллегу поближе, говорит, вот только затруднения у меня некоторые в интимной сфере...

Разговаривая, Таисья с усилием ворочала под вялой струей воды в раковине свои тяжелые груди. Так прачка полощет в реке тяжелый пододеяльник.

– Ага, некоторые, говорит, затруднения... И задирает этот свой черный свитер, что вечно у него под коленями болтается. Я глянула!.. Знаешь, я в жизни много чего видала, но тут чуть в обморок не хряпнулась. Представь: торчит из штанов огромный окровавленный хер, абсолютно натурально обрезанный минуту назад...

– Да что ж это за безобразия! – крикнула я. – Кто он такой?

Таисья обеими руками отжала над раковиной грудь и, сняв с вешалки полотенце, стала энергично растирать свое хозяйство. Так рачительный крестьянин купает в реке коня.

– Так он же, милка моя, по профессии театральный художник, потрясающий бутафор! Работал в юности в знаменитом барселонском театре «Лисео». Несколько сезонов подрабатывал в Амстердаме, в Музее мадам Тюссо... Вообще, Люсио Коронель – штука непростая. Между прочим, из какого-то старинного испанского рода – ты порасспроси, он расскажет, он

любит об этом трепаться. Там какая-то жутко романтическая история, то ли с привидениями, то ли с грабежом. Что-то криминальное – если, конечно, не врет. А врать и придуриваться он мастер! Вот увидишь, чего он вытворяет у нас по четвергам. Не обращай внимания. Люсио – паскудник, конечно, отчаянный пересмешник, но подлец он не самый большой. Ты ведь еще с директором не знакома?

Таисья повесила полотенце на крючок, сняла со спинки стула огромный роскошный бюстгальтер с лиловыми кружевами:

– Глянь, какой я себе навимник купила. Угадай почему?

– Таисья, а что, директор – тоже фрукт вроде этого Люсио?

Продолжая стоять с голыми грудями, которые, как два молочных поросенка, выпавших из мешка и ослепших от света божьего, тихо шевелятся, поводят замшевыми розовыми пятачками сосков, но уже готовы вскочить и, хрюкая, разбежаться в стороны, Таисья любовно и задумчиво рассматривала новый бюстгальтер.

– Двести восемьдесят шекелей, – похвасталась она, – положение обязывает. Все-таки я руковожу людьми, у меня семнадцать педагогов, двести пятьдесят учеников... Пора прилично одеваться.

Так же энергично и сосредоточенно принялась она впихивать и упаковывать своих поросят в это и в самом деле монументальное сооружение, напоминающее одновременно и балдахин, и попону.

– Альфонсо? – спросила она и вдруг кивнула на лежащий передо мной журнал мод. – А вот он, наш красавец жеребец.

На глянцевого обложке журнала, чуть ниже названия, была помещена фотография манекенщика с необыкновенной, не казенно обаятельной улыбкой. Сидя в кресле явно антикварного толка и небрежно перекинув ногу на ногу, он демонстрировал вечерний костюм: черный смокинг, ослепительная рубашка, бабочка и великолепная трость в правой руке. В левой он сжимал оправленную в золото, с инкрустацией из слоновой кости курительную трубку.

Я растерялась. Вопросительно взглянула на Таисью.

– Подрабатывает, – объяснила та. – Слушай, каждый крутится, как может... Ну, пойдем, там уж все собрались.

Как вспоминается сейчас, я ожидала чего угодно, только не того, что увидела.

А увидела я застолье. Середина зала, где обычно проводились культурные мероприятия, была освобождена от стульев, несколько столов сдвинуты буквой «Т» и уставлены одноразовыми тарелками и пластиковыми баночками с тем привычным набором еды, которая в первые дни приезда казалась разнообразнейшей и вкуснейшей, но вскоре надоела до оскомины: несколько сортов белого и желтого сыров, маслины, невыносимо острые соленья, творожки разной степени жирности и несколько видов баклажанных салатов – от крупно нарезанных, жаренных в томатном соусе, до молотых и приправленных майонезом. Несколько бутылок желтого и оранжевого питья с явно уксусным привкусом разведенного концентрата, и канистра непременно израильского «шоко» – любимого напитка нации.

Вокруг стола кто-то уже сидел, энергично жуя и при этом энергично жестикулируя в разговоре, кто-то прогуливался, перегибаясь над столом и выхватывая с тарелки маслину или огурчик.

Отовсюду покрикивали:

– Дуду, передай мне тарелку! стакан!

– Ави, хочешь хлеба?

Жевали все. Сначала я думала, что застолье – необходимая расслабляющая и объединяющая прелюдия к дальнейшим рабочим спорам и обсуждениям. Впоследствии убедилась, что

это не что иное, как тотальное непрекращаемое жранье, вечное жевание, левантийский пищеварительный перпетуум...

Жевали до заседания, жевали во время заседания, жевали, ссорясь, давясь, хохоча, возмущаясь, проглатывая непрожеванные куски. И уже поднявшись со стульев, прихватывали с тарелок оставшееся – огурчик, маслинку, торопливо намазывали салат на кусочек хлеба.

– Не зевай, – сказала Таисья, придвигая мне тарелку и наливая «шоко» в одноразовый стаканчик, – все сметут, гады, оглянуться не успеешь.

Я попыталась расспросить ее на предмет – кто там в малиновом берете, – но Таисья сказала сурово:

– Молчи и ешь. Я все тебе со временем объясню. Главное, не лезь ни во что. Твое дело маленькое: ты Милку замещаешь. А то сядут на голову и поедут – дороги не разберешь.

– Кто поедет? – спросила я.

– А вот увидишь, – отозвалась она, энергично намазывая на хлеб толстый слой белого мягкого сыра.

Наконец в дверях зала вскочил – зрительно это именно так и выглядело – высокий человек, в котором я сразу узнала давешнего манекенщика с обложки журнала мод. Две-три секунды он обозревал собравшихся за столом – так завоеватели бросали первый взгляд на Иерусалим с вершины горы Скопус – и спешил: неторопливо направился к той части стола, которая представляла собой перекладину буквы «Т». За ним поспевали две секретарши и – тощенькая, сутулая, на голенастых подростковых ногах, с круглой стриженной головой пятиклассника – Адель, замдиректора по финансам.

В дальнейшем все без исключения четверговые заседания «цёвета» – «цвета» Матнаса – начинались с этого внезапного появления-вскакивания Альфонсо в дверях. Несколько секунд, как бы натягивая вожжи, подняв невидимого коня на дыбы, он зорко оглядывал свои владения, затем неторопливо спешивался.

Да, это был тот самый человек с обложки журнала – красавец лет тридцати восьми, безупречная модель; у него были все данные, чтобы стать идиолом Голливуда. Он был рыцарственно красив, словно откован природой по давно забытой, но вдруг случайно найденной форме, по какой в Средние века ковали сюзеренов и королей.

– Ну вот, – сказала мне Таисья, пока директор усаживался и с ласковой, поистине прелестной улыбкой кивал то одному, то другому, кто протягивал ему тарелку, стакан, баночку с салатом. – Сейчас он устроит «рабочую переключку «раказим»», и ты начнешь потихоньку врубаться.

– Что такое «раказим»?

– Координаторы. Балда.

– И мы здесь все – «раказим»?

– Ну да. Козлы рогатые.

– Хёврэ! – воскликнул Альфонсо, пристукнув ладонью по столу.

В эту минуту заколыхалась портьера на дверях зала, зашевелилась, приподнялась, завывала, затанцевала... Из-за портьеры выкатился Люсио, обиженно подвывая что-то вроде: «Всегда без меня, все без меня, никто Люсио не ждет, все съели, ни крошки бедному не оставили...» – совершенно ясно было, что он прятался там и выжидал, пока соберется вся компания.

Он выписывал вокруг стола кренделя, Альфонсо смотрел на него откровенно любуясь – так смотрят на своего пострела, шалуна... Впрочем, было еще что-то в этом взгляде, как показалось мне в ту минуту – тщательно скрываема опаска. Люсио подскочил к директору, заведя руку за спину и приговаривая: «Поделись с Люсио, дай кусочек вкусенький!» – сунул под нос Альфонсо свой утренний сюрприз, который так меня напугал.

Тот отшатнулся, перекосясь, плюнул и... захохотал. Выхватил у Люсио злополучную кисть руки мертвяка и поднял повыше, любуясь, прищипывая и приглашая полюбоваться всех. Дамы кривились, хихикали, отмахивались от мерзости, выполненной с таким мастерством. Очевидно, привыкли. Только одна – высокая и тонкая, как хлыст, с черными глазами на худощавом, очень холодном лице – взяла карликову поделку в руки, внимательно осмотрела и спросила:

– У кого это ты отгрыз, Люсио?

– У твоего дружка, Брурия, – мгновенно ответил он, – у которого ты грызешь кое-что другое.

За что сразу же схлопотал легкий подзатыльник от начальства.

– Хэврэ! (**хари хавающие, врущие, рыгающие, харкающие...**)

Альфонсо отодвинул от себя тарелку и воссел – я иначе не могу изобразить эту гордую посадку. Как же он был хорош! Густые пепельные волосы, красиво распадающиеся на лбу, крупные чеканные черты лица, вообще – некоторая даже излишняя в лице чеканность, разве что ускользающий взгляд каштановых глаз несколько контрастировал с этими выбритыми до голубоватого отлива литыми формами.

– Хэврэ, времени нет, это заседание будет непривычно кратким.

Надо сказать, в дальнейшем директор всегда провозглашал напряженную работу в сжатые сроки, все заседания с первой минуты он объявлял «непривычно краткими» – и все они растягивались на долгие часы. Посудите сами: во-первых, все «раказим» должны были высказаться, доложить о результатах работы за неделю, о планах работы на будущее. Все это прерывалось бесконечными и ожесточенными перепалками каждого с каждым, ибо недоделки и упущения в работе одного были, как правило, причиной – действительной или мнимой – недостатков и упущений в работе другого. И все вместе они не стоили выеденного яйца.

Кроме того, на каждом заседании обязательно выявлялось какое-нибудь возмутительное происшествие, в котором долго, подробно и скандально разбирались.

На первом моем заседании, например, произошел скандал по поводу увольнения некоего неизвестного мне Дрора, координатора спортивных программ. Началось с того, что Альфонсо объявил о его увольнении торжественно-скорбным, но тем не менее начальственным тоном. Как выяснилось в дальнейшем, подобный тон действовал на коллектив Матнаса как окрик дрессировщика на зарвавшуюся рысь. Обычно в такие минуты наступала тишина. И только двое в этой тишине отваживались вставлять свои замечания или возражения: Люсио – на правах баловня-шута, и Таисья – на правах неменяемой правдолюбивы. К тому же статус директора консерваториона давал ей некоторые административные преимущества перед остальными обитателями Матнаса.

– Послушай, Альфонсо, я Дрору – не сват и не брат, – начала она.

– Так вот и молчи! – живо и жестко отозвался тот.

– Но так не поступают! Дождись, по крайней мере, пока его выпишут из больницы!

– Таисья! – повысил голос Альфонсо. – Я не прошу у тебя ни совета, ни указания! Я еще пока здесь директор.

– Ну и что, что ты директор? – бесстрашно возразила она. – Дрор работает в Матнасе двенадцать лет, тебя тогда и в помине не было. Человек перенес три инфаркта, а ты его увольняешь, когда он еще из больницы не вышел.

– Та-ись-я!

Но она уже закусила удила. Глаза наполнились влагой, голос – надрывной хрипотцой.

– Да люди ли мы?! – воскликнула она с драматической силой, оглядывая коллег. – Наш товарищ, который не может сейчас ни слова сказать в свою защиту, прикован к больничной койке... Он лежит, беспомощный, под капельницами, и никто из врачей не скажет – как долго

он протянет!.. И в это самое время его коллеги спокойно соглашаются выкинуть беднягу на улицу, оставляя его детей без куска хлеба! – Голос ее сорвался, она замотала головой и зарыдала, выкрикивая что-то бессвязное о гуманизме, о солидарности и смерти под забором.

Продолжая громко рыдать, Таисья вскочила, лягнула стул, так что он опрокинулся, и выбежала из зала.

Я ошалела от этой, столь стремительно развернувшейся сцены. В ту минуту я верила, что присутствую при экстраординарном скандале, в результате которого произойдут некие тектонические сдвиги в почве существования Матнаса. Тем страннее выглядели совершенно будничные, я бы сказала, рабочие физиономии остальных членов коллектива. Люсио делал вид, что спит: положив голову на стол, тихо, но внятно похрапывал. И эта кабанья голова на столе, и сидящие вдоль стола люди страшно напоминали мне что-то, чему пока я не могла подобрать название.

Перешли к обсуждению следующей темы – кажется, покупки инвентаря для спортзала. А я сидела и думала – что теперь будет? Уволят ли Таисью за этот бунт, вернут ли неизвестного мне Дрора... А может, Альфонсо, поняв, что допустил непростительный промах в работе, уйдет с занимаемой должности «по собственному желанию»?

Спустя минуты три возвратилась посвежевшая Таисья, невозмутимо подняла стул, села рядом. Я искоса поглядывала на ее румяную умытую щеку.

– Вообще-то, его можно понять, – вдруг спокойно сказала она по-русски, кивнув на директора. – Дрор всегда был херовым работником. Последние девять месяцев вообще не появлялся в Матнасе.

– Но ведь три инфаркта подряд? – спросила я. – Бедняга, совсем молодой мужик...

Таисья достала платок и высморкалась.

– Ничего удивительного, – отмахнулась она, уже прислушиваясь к яростной стычке за столом, – пьянки, наркотики, бляди... – И вдруг с полуслова на иврите врезалась в свалку: —...А я считаю недопустимым позволять подросткам!!!... – и дальше совсем уж для меня неразборчиво: не по словам, по смыслу дела.

...На том же заседании я была представлена коллективу: Дина, замещает Милу, наша новая «ракэзет» (маркизет роковой на козе рогатой). Мне все улыбнулись, я всем кивнула. Потом Альфонсо заговорил о творческом подходе к работе каждого члена коллектива. Он повторял то и дело словосочетание, которое приблизительно можно было перевести как «полет фантазии». Получалось, что с этим полетом у всех «раказим» дела обстояли неважно.

– Давайте же помечтаем! – приглашал он требовательно, и с каждой фразой голос его отвердевал, как бывает в споре, когда неприятный тебе собеседник несет вздор и не желает вслушаться в твои доводы. Выглядело это, скажем прямо, нездорово: в полной тишине всего коллектива директор Матнаса все повышал и повышал голос. В красивых длинных пальцах он вертел чашку с витиеватой надписью, и я пыталась издали прочесть, что там написано, – но безуспешно.

Чувствую, с описанием этих многозначительно непристойных чашек в каждом новом своем сочинении я становлюсь несколько назойливой. Но ничего не могу с собой поделать: меня обуревают страсть коллекционера, нанизывающего эти случайные, дурацкие, смешные и прочувствованные фразы на тонкий серпантин повествования.

Альфонсо все распался и распался, и по мере его возгорания остальные сникали, притихали, сонно застывали физиономии, замирало все вокруг...

– Ущелье – наше богатство, а мы не используем его! Нет фантазии, никто не знает, что с ним делать. А вы попробуйте спуститься в ущелье и прислушаться к музыке пустыни! При-

ложите мозги! А если их у вас нет – идите прочь! Вам нет места в Матнасе! Займитесь чем-нибудь другим. Точка! Я вас всех к черту – уволю! – вдруг заорал он, на мой взгляд, несколько неожиданно.

Тем удивительнее показалась мне реакция коллег: все они уснули, во всяком случае, сонно прикрыли глаза, словно вопли хозяина действовали на них гипнотически. А красавец накалялся все пуще, он кричал куда-то вдаль, впрок, для остротки. Его широкие, красиво развернутые плечи вздыбились, жилы вздулись на высокой загорелой шее, глаза, как пишут в таких случаях, «метали громы и молнии», правда – в неопределенном направлении. В его громогласном, перекатывающемся оре были навалены – как барахло на захламленном чердаке: полет фантазии, ущелье, ответственность перед населением, подготовка к празднику, огромные деньги туристов, музыка пустыни, музыка Генделя, я снимаю вам головы, точка, суть вопроса, шевелите мозгами.

Во всяком случае, так это выглядело в моем воображении, немало потрясенном этим первым заседанием коллектива.

– Все «раказім» должны спуститься в ущелье! – воскликнул он наконец.

– Зачем? – спросила я озабоченным шепотом у Таисьи. Она отмахнулась – мол, потом!

– Но ведь какой-то идиот уже открыл там живой уголок, – подала голос Брурия. Странно, как такие яркие черные глаза могли оставаться столь холодными.

– Так вот и надо думать – что с этим делать. В ближайшие несколько дней мы совершим экскурсию в живой уголок, – продолжал он, успокаиваясь, – и вы обязаны приложить мозги к этому месту! Точка! Я призываю всех «раказім» спуститься в ущелье!

(Всем рогатым козлам – пасть в кизиловых рощах!)

Я осторожно оглянулась – «цёвет» Матнаса дремал с открытыми глазами. Вязкая одурелая тишина застывшего полдня зудела в ушах. И тут на балконе тоненько всхлипнул, заплакал ребенок... Кто-то невидимый стал его успокаивать, подсвистывать, ласково, умиленно гулить. Вдруг кто-то третий вскрикнул: «Ай-ай-ай!» – запричитал, заохал, будто палец прищемил; и тут же застонали, заойкали сразу четверо, взвыл грубый, хамский глумливый бас, оборвался на хрипе; опять тоненько взвыли, кто-то захихикал...

Таисья оглянулась на мое ошарашенное лицо и пробормотала:

– Это ветер, не бойся. Тут такие концерты бывают – куда тебе твой шабаш!

Что такое ветры Иудейской пустыни, я и сама знаю. В иную ночь проснешься от воя и дребезжания стекол, и кажется: еще минута – и нас снесет вместе с крышей прямехонько в преисподнюю (да и лететь недалеко – тут, за соседнюю горку). Но то, что творилось в недавно отремонтированных трубах системы центрального кондиционирования Матнаса, то, как изошренно озвучивались щели, прорези, прорехи и щербины, нельзя было назвать завыванием ветра. Каждый раз это обрушивалось на меня внезапным шквалом страшных слуховых и культурных ассоциаций, оглушало, пугало, истязало и глумилось...

Часа через три, когда наконец Альфонсо иссяк, все мы были отпущены восвояси. Проходя мимо чашки директора, я взяла ее в руки и прочла надпись. На белом фаянсовом поле было написано витым красным шрифтом: «Трудно быть скромным, когда ты лучше всех».

* * *

Надо ли говорить, что в первый же рабочий день я составила подробный и разнообразнейший план работы: концерты, экскурсии, лекции, творческие вечера и заседания сразу трех клубов: географического, женского и «клуба трех поколений». В перспективе предполагался выпуск шестнадцатиполосной газеты на русском языке.

Дня через три после первого заседания коллектива секретарша Отилия – крепкая женщина в ковбойке и джинсах – объявила, что директор ждет меня в своем кабинете на собеседование.

Я поднялась в свой кабинет, свернула в трубочку плод моего должностного рвения – план мероприятий на три месяца – и явилась пред начальство.

Альфонсо покручивался в кресле и смотрел на меня чуть ли не с умилением. На компьютерном столике лежал журнал мод, тот самый, с его фотографией.

Он так рад, что именно я замещаю Милочку, он уверен, что именно я подниму культурную работу с олим (с **налимами**) на подлинно высокий уровень. Он не сомневается, что я уже обдумала стратегию и тактику работы и подготовила план, который он с удовольствием выслушает.

Да, разумеется, у меня все готово – я развернула лист плавным, но сноровистым движением герольда, выкрикивающего на городской стене приказ герцога.

Вот, пожалуйста, на ближайший месяц: концерт классической музыки. Экскурсия на Кинерет. Лекция косметолога: подтяжка и укрепление отвисающей кожи щек. Кожи – чего? Ах, я неправильно выговорила слово. Кожи щек. Я пробежала пальцами по своей правой щеке. Потом показала левую... Красавец милостиво мне кивнул. Очень полезно, очень увлекательно. Что еще? Взгляд его карих глаз все время убегал в сторону обложки журнала, к своему изображению.

Еще, продолжала я, заседание географического клуба – остров Мадагаскар, а также встреча с известным писателем Кагановичем, автором многих романов.

О, это очень, очень интересно, он слышал об этом замечательном писателе. Мадагаскар – это тоже очень развивает. А еще?

А еще – я надеюсь, Альфонсо понимает всю важность задуманного мной проекта, – я пригласила известного психолога для проведения курса лекций о взаимоотношениях трех поколений в семье.

– Прекрасно! – воскликнул директор.

Это, признаться, была кода написанной мною симфонии культурных мероприятий. По моему мнению, в данном произведении, и без того затянувшемся, я несколько злоупотребила литаврами. Но Альфонсо, как выяснилось, лишь входил во вкус. Он оживленно покручивался в кресле вправо-влево и уже открыто поглядывал на обложку журнала, задерживая на две-три секунды откровенно влюбленный взгляд на своем изображении.

– Ну а еще?

Я замялась. Для скудной зарплаты, положенной на три месяца, перечисленные мною увеселения выглядели более чем бравурно.

– Еще... – пробормотала я, глядя на чеканную – в контражуре, – великолепно посаженную, на высокой шее голову, – еще я предполагаю организовать выставку-продажу картин русских художников, живущих в нашем городе.

И вздохнула с облегчением: вовремя же эта славная мыслишка забрела мне в голову.

– Фантастика! Браво! – Он восхищенно заломил руки, потом легонько придвинул к себе журнал и как бы рассеянно уставился на свою фотографию.

– Ну... а если помечтать, еще, еще?

Чего же тебе еще, тоскливо подумала я, где ты денег на это все возьмешь? А вслух сказала:

– Хорошо бы провести конкурс красоты, – абсолютно уверенная, что сейчас он отбросит журнальчик и холодно осведомится, не сошла ли я с ума.

– Гениально! – воскликнул он и лучезарно улыбнулся. – Ну а еще?!

Он маньяк, поняла я внезапно, сумасшедший. Кто же его посадил на эту должность? Мне вдруг захотелось проверить свое открытие.

– А еще... – осторожно проговорила я, – хотелось бы при Матнасе организовать яхт-клуб и в будущем устраивать соревнования яхтсменов.

Выговорив это, я замерла. Даже безнадежно сумасшедший должен был по крайней мере поинтересоваться – где именно в Иудейской пустыне я собираюсь проводить соревнования яхтсменов.

Но Альфонсо откинулся в кресле, мечтательно задрал к потолку кудрявую голову.

– Гран-ди-о-о-зно! – простонал он.

И в этот миг – как бывает в сердцевине развернувшегося сюжета некой драмы или в особые минуты жизни, когда вдруг обнажается остов ситуации и она – как скалистый остров среди волн – вздыбливается и видна вся целиком (зависшая пауза, застывшие лица бродячих актеров), в этот самый миг я услышала зачарованным внутренним слухом некий мягкий аккорд, сплетение нескольких тем: дуновение ветра с Пиренейского полуострова, монотонное жужжание мух сонной сестры Магриба, цоканье лошадиных копыт о мощный белый византийской мозаикой двор монастыря, шарканье башмаков проезжего хуглара, дрожание виоловых струн, разбуженных большим пальцем его правой руки, и... и вдруг, натянутый, как тетива, – но откуда, откуда в Матнасе? – сладостный и отравный мотив роковой испанской страсти.

Глава третья

Коукс. Как! Разве они живут в корзинке?

Лезерхед. Они лежат в корзинке, сэр! Ведь они маленькие!

Коукс. Так это и есть ваши актеры? Вот эта мелюзга?!

Лезерхед. Актеры, сэр, и еще какие! Не хуже других! Правда, они годятся только для пантомимы, но я говорю за них всех.

Бен Джонсон. «Варфоломеевская ярмарка»

Я принялась за работу с ученическим рвением.

Я за любую работу принимаюсь обычно с ученическим рвением, ибо знаю заранее, что весьма скоро это рвение иссякнет. Нет, я не ленива. Я глубоко и безнадежно бездеятельна.

Это единственно естественное для моей психики, любимое и, к сожалению, недоступное времяпрепровождение. Поэтому всю жизнь я ищачу и произвожу впечатление гудящей пчелы.

Итак, я принялась за работу: объявила даты и маршрут двух ближайших экскурсий, пригласила выступить в будущий четверг профессиональных музыкантов – молоденькую певицу и старого величавого концертмейстера, – старательно написала крупными буквами объявления и полдня бегала по всему городу по жаре – развешивала их.

К тому же я распространяла билеты, что сразу сделало мою жизнь непереносимой: пенсионеры звонили мне домой с рассвета до полуночи и за билетами заходили примерно в эти же часы, по пути, совершая прогулку для лучшего пищеварения.

Весь этот ад продолжался дней пять, пока Таисья не сказала:

– Что ты бегаешь с билетами, дура? Побереги себя. Отдай какой-нибудь старухе и пообещай шекель с каждого проданного билета. Когда ты усвоишь простую, как глоток, истину: оле тебе за шекель в чистом поле воробья загоняет?

Перед первым концертом я ужасно волновалась, словно самой предстояло петь «Хабанеру» Кармен, объявленную в программе.

Я обзвонила всех доступных, ходячих и внемлющих пенсионеров:

– Здравствуйте, вас беспокоит Дина из Матнаса.

– А?! Говорите громче!

– Дина из Матнаса!

– Ну так шо вы хотите?

– Хочу пригласить вас на концерт классической музыки.

– Чего вдруг?!

Словом, я проделала определенную физическую работу. Но усилия мои – как пишут в педагогической литературе – были вознаграждены: старики явились, долго и подробно распоряжались относительно кондиционера:

– Откройте на полную мощность!

– Нет, так холодно.

– А я вам говорю – дышать невозможно!

– А вы сядьте на мое место, чтобы вас продуло. Я в мае перенесла такую пневмонию, что врагам своим не пожелаю.

– Шо ж вы явились сюда с вашей пневмонией – всех задушить?

...Наконец все расселись, обмахиваясь газеткой, тетрадкой, афишкой, а то и настоящим веером «а-ля Кармен»...

Я давненько не слышала меццо-сопрано такого глубокого, страстно-чувственного тембра, какой был у этой девятнадцатилетней девочки. И никогда не встречала столь полного слияния голоса с внешним обликом певицы: сильное гибкое тело лосося в открытом, облегчающем платье темно-серебристого цвета.

Когда на бис пела она «Хабанеру» Кармен, устремляясь всем телом вперед, – черные кудри то наклонялись, закрывая белый профиль, то взлетали, открывая агатовый глаз. Любовь – дитя, дитя свободы, законов всех она сильнее...

Старый профессор, заслуженный артист России, высокий, седовласый, сутуло-элегантный в своем черном смокинге, при бабочке, милостиво кланялся моим старикам...

* * *

В другой раз я решила позвать пенсионеров на кинопоказ. Но по ошибке вместо роскошной английской мелодрамы принесла из видеотеки порнофильм с садомазохистскими изысками. На мое счастье, в тот вечер на просмотр явились только двое – чета почтенных профессоров-медиков. Обнаружив чуть ли не с первых кадров неувязочку по теме, я целомудренно ахнула, бурно извинилась и бросилась выключать телевизор.

– Нет, отчего же, оставьте, – возразила Мария Иосифовна, в прошлом – один из лучших хирургов-гинекологов Ленинграда. – Вдруг чем-то новеньким порадуют.

Минут тридцать они – старые, седые – внимательно следили, как блестящие от пота голые актеры гонялись друг за другом с разнообразными орудиями пыток в руках.

– А почему они не приступают к коитусу? – громко, как все глуховатые люди, спросил профессор супругу. – Я был бы давно готов.

– Очевидно, у него замедленный мошоночный рефлекс, – спокойно отозвалась Мария Иосифовна.

После того вечера я окончательно решила ограничить развлечения своей престарелой паствы концертами легкой классической музыки.

* * *

На заседаниях коллектива Таисья спокойно вслух говорила со мной по-русски. Это придавало происходящему дополнительное измерение. Делало остальных фоном. Словно бы мы с Таисьей сидели перед экраном телевизора и комментировали идиотские диалоги героев очередного мексиканского телесериала.

– Посмотри, как он ест, – говорила мне Таисья, рассматривая сидящего напротив карлика Люсио. – Не дай боженька увидеть такое беременной женщине.

Тот и вправду ел, странно и непроизвольно подмигивая, – очевидно, было это вызвано раскоординированностью лицевых мышц. Один глаз его закрывался, другой, полузакрытый, смотрел вбок. При усиленном прожевывании особенно крупного куска Люсио вскидывал левый глаз и страшно подмигивал им в самом неопределенном направлении. Вообще, когда он ел, казалось, что рука невидимого кукловода, изнутри распялив на пальцах его лицо, выкручивает губы, сворачивает на сторону нос, подергивает кадык и сводит щеки к подбородку.

Так же холодно и точно Таисья комментировала действия Альфонсо, особенно когда тот впадал в монаршую ярость. А он частенько впадал в монаршую ярость.

Вообще это была самозаводящаяся динамо-машина. Для того чтобы он раскалился добела, не нужно было никакого постороннего повода вроде чьей-то неосторожной реплики или неверного движения. В пылу монолога мелькнувшая мысль выводила его на какую-нибудь неприятную для него тему, и тогда, неожиданно для окружающих – и потому особенно необъяснимо и страшно, – он взрывался и орал.

Жилы вздувались на его атлетической шее, он багровел, стучал кулаком по столу, брызгал слюной и обещал всех «спустить с дерева» и «срезать голову».

Это был самодур в кристально чистом виде. В другом месте и в другое время он был бы идеальным коммунистом, борцом за мировую революцию.

Кстати, подобно пламенным революционерам, многие деятели из разных стран, приехав на эту землю, берут себе псевдонимы. По сути дела, это все та же разбойничья романтика кличек, но здесь это называется – вернуться к своим корням. Впервые услышав фамилию Альфонсо, я улыбнулась: на русский она переводилась как Человечный. Альфонсо Человечный, не больше, но и не меньше.

Интересно, что израильтяне, будучи в сфере материальной людьми вполне практичными, в сфере эмоционально-идеологической продолжают, в сущности, строить коммунизм, в то время как уже во всех остальных местах планеты все бросили это идиотское занятие. Ну что ж, евреи, как известно, издревле отличались особенным идеологическим упрямством.

Идея плавильного котла, основательно проржавевшая (идея, а не котел) уже в Соединенных Штатах Америки, здесь до сих пор наполняет гордым ветром сердца кибуцных энтузиастов. До сих пор высшей точкой слияния аборигенов со свежей еврейской кровью считается дружное пение сохнутовских песен под нестройный аккордеон. Вообще, культмассовая израильская аура весьма грешит двумя притопами и тремя прихлопами под раздувание мехов большого доброго сердца.

Я помню это пение в первые недели после приезда на курсах обучения ивриту. Бывшесоветские циники, обалдев, смотрели на всю эту зарю советской власти. Они боялись переглядываться, чтобы не прочесть в глазах друг друга собачью тоску перед идеологическими увеселениями еврейских рабочих и крестьян.

Так что Герцль и теперь живее всех живых...

Да и что можно взять с государства, где до сих пор в ходу революционное словечко «мандат»? А логика – наука греческая, говорил Владимир Жаботинский, евреям без надобности.

Иногда Альфонсо и произносил что-то вполне в революционном роде: «Мы говорим «город» – подразумеваем «Матнас», а говорим «Матнас» – подразумеваем «город!» Кажется, он был искренен, вот что самое страшное.

В такие минуты за столом наступала тишина. Не потому, что его боялись. Хотя боялись, конечно, но так, как бояться буйных припадочных: лучше не возражать, а то сейчас стол перевернет, чашки побьет...

– О-о, – злорадно вступала Таисья шелестящей скороговоркой спортивного комментатора. – Сейчас начнется... Обрати внимание: буря начинается с легкой зыби в бровях... как бы – с удивления... Смотри, сейчас одна бровь начнет подниматься.

Действительно, сначала на приветливом и прекрасном лице Альфонсо появлялось некое светлое непонимание, невинная оторопь, правая бровь, шевельнувшись, приподнималась...

– ...выше, выше... ах, так вот как обстоят, оказывается, дела! Удивление возрастает. Как это могло случиться?! Ведь я дал нужные указания!

Все это Таисья проборматовала в холодном азарте у меня над ухом.

– А теперь внимание: брови на грозной высоте, рот полуоткрыт, кулаки сжаты: удивлен, потрясен, разгневан...

– Хэврэ!! – вопил Альфонсо. – У меня нет слов! Я удивляюсь, хэврэ!

– Дыплюсь та бачу манду собачью, – вторила Таисья негромко, безынтонционно.
– Если город не подготовлен к празднику – будет сокрушительный провал! – продолжал вопить Альфонсо. – Все пропало!
– Ну да, – ровно вступала Таисья, – лопнула манда, пропали деньги...
Это выглядело синхронным переводом зарубежного телесериала.
– Или вот этот. – Она глазами поводила в сторону Шимона, человека в тренировочном костюме. Нельзя было вообразить себе ничего менее спортивного, чем этот координатор спортивных программ. – Что он тебе напоминает, этот мучной червь? Молчи, я скажу: непропеченный коржик. Обрати внимание: рот всегда открыт – запущенные с детства полипы... Он неглуп, но ленив чудовищно, невообразимо, сверхъестественно... Вообще, все эти примечательны как раз тем, что занимаются делом, в котором ни черта не смыслят. Возьми, к примеру, Ави... Да не пялься ты так в открытую! Искоса, искоса... Ну, какое, скажи, он может иметь отношение к бассейну, если он плавать не умеет? Тихо, не вопи. Вот так, не умеет... А ты думаешь, что Альфонсо умеет руководить или понимает хоть что-то в делах управления хоть чем-то, скажем, газовой конфоркой или домашней тапочкой? Или тебе кажется, что Адель смыслит что-то в финансах? У нее, если я не ошибаюсь, даже аттестата об окончании школы нет...

Под монотонное бормотание Таисьи я рассматривала Адель со стриженным затылком пятиклассника, в круглых очках в металлической оправе. Адель всегда жевала резинку и на заседаниях коллектива время от времени задумчиво выдувала небольшой пузырь, после чего указательным пальцем подбирала с губы лопнувшие ошметки и запихивала их в рот.

– Однажды я сдуру поехала с ними на ежегодную пасхальную экскурсию. Всего пересказывать тебе не буду – ты испугаешься, но только одно, самое невинное: знаешь, как загалосил костер муж Адели? Он расстегнул штаны и под общий одобрительный хохот помочился в огонь. Все были жутко довольны. Говорю тебе: нравы здесь вполне средневековые... А вот Давид, наш завхоз; он парень неплохой, порядочный, но молоток, который всегда при нем, поверь, от его головы не отличается... А два арабских мудозвона, которые, как лунатики, за ним по Матнасу болтаются, это Ибрагим и Сулейман, братцы-кролики из соседней деревни Азари. Всегда в состоянии медитации. Упаси тебя Бог послать их за плоскогубцами. Не вернутся никогда... Дальше... Отилия, девка душевная, простая, любит порядок... Да не пялься ты так на них, у тебя взгляд то ли шантажиста, то ли убийцы... на вот, съешь лучше пирожок...

– А теперь глянь на эту гранд-даму... – Она кивала на Брурию. – Как спину держит, а? Сколько патетики в этой неподвижности, а? Люблю я этих баб, которые, вынося мусор, держат спину, будто фламенко танцуют... Глянь, как она смотрит на хозяина.

– А что, у них роман?

– Да разуй глаза, простота святая! Она влюблена в него как кошка! Все стережет – чуть он зазеваается, она цап-царап – и унесет его в коготках к себе в норку. Но он бдительный. У старых холостяков, знаешь, яйца намылены.

– А он что, не женат?

– Кто – он? Один, как желтый огурец в осеннем поле...

– Странно, такой красавец... И она – яркая женщина. Была бы стильная пара.

– Что значит – была бы? Он дерет ее на каждом углу, как кот помойный. Это все знают. Сколько раз их заставляли! Вон, спроси у Отилии... Прямо здесь, в Матнасе.

– Странно... Почему – в Матнасе? Что – ни у нее, ни у него квартиры нет?

– Ой, не вдавайся, милка моя, – взмолилась Таисья, которой я мешала слушать происходящее и, следовательно, полноценно в нем участвовать: то есть скандалить, переть на рожон и ежеминутно выяснять отношения со всеми разом. – Если вдаваться в этот сумасшедший дом, можно самой спятить... У них какая-то длинная запутанная история. Оба они из Испании, как и Люсио. Но сюда вроде приехали из Аргентины, и любовь крутили там еще... Кажется,

даже вместе жили, как муж и жена... Но однажды – так Брурия рассказывала Шоше из социального отдела, – однажды он сорвался и поехал сюда, вроде как на несколько дней, вроде как родственников отыскал... Ну, она ждала-ждала там, в Аргентине, полгода ждала, а приехала сюда его искать. Найти-то нашла, сунулась вместе жить, да не тут-то было. Он от нее туда-сюда, туда-сюда... Явно какая-то баба есть, а вот кто – поди угадай. И вот уже сколько лет ни то ни се, ни два ни полтора. Мучит ее, мучит... Смотри, как она высохла...

– А есть здесь приличные люди? – спросила я однажды у Таисьи.

Она обвела хозяйским оглядом стол. Все вяло жевали под угрюмый посвист ветра.

– Да, – сказала она совершенно серьезно. – Мы с тобой.

Глава четвертая

*Человек – существо разумное, смертное, умеющее смеяться.
Ноткер Губастый (XI в.)*

Дней через пять жарким утром наш директор Альфонсо поволок весь «цёвет» Матнаса на экскурсию в ущелье.

Уже миновал Судный день, прошла неделя праздника Кущей, а благословенного в этих местах дождя все не было. Гладкое дно эмалированной кастрюли стояло в вышине.

Поговаривали, что, если через несколько дней небеса не разверзнутся, равнины объявят пост, и в синагогах начнутся моления о дожде.

Ленивой цепочкой мы подтягивались к краю горы, с которой полого вниз уходила тропа в ущелье. На всех «раказим» были нахлобучены соломенные шляпы, кепки, панамы, каждый нес при себе бутылку с водой.

Альфонсо сиял: пастух выгонял свое стадо на горные пастбища. Он возглавлял процессию, то и дело оборачиваясь и выкрикивая очередную фантастическую глупость. Казалось, еще минута – и он заставит всех петь хором походную песню про картошку, а сам будет дирижировать.

Таисья плелась рядом со мной и в полный голос отпускала замечания по-русски.

– Ему же не хер делать, понимаешь, – говорила она, отпивая воды из бутылки и подбирая указательным пальцем россыпь капелек на верхней губе. – Мужик здоровый, молодой, красавец – полон сил, кот помойный. А его посадили в Матнас – околачивать груши.

– Кто посадил? – спрашивала я рассеянно, не в силах вдаваться в бюрократические хитросплетения, в которых она ориентировалась так же свободно, как родовитый испанский гранд в генеалогическом древе своей семьи.

– Да есть у него «спина» в Управлении Матнасами... – хмуро глядя в спину начальства, говорила Таисья. – Хотя, если постараться, можно было бы свалить гада.

– О, это будет грандиозно! – оборачиваясь, восклицал Альфонсо. Он был в легкой голубой маечке, обтягивающей великолепно развитую грудь – не спортсмена, нет, – просто красавца по рождению. – Я предвкушаю музыку Баха среди этих пустынных гор! Мы соберем колоссальные средства! К нам будут стекаться на концерты толпы туристов из Франции, Англии, Америки! Мы заработаем мешки денег!!!

Тут впервые странная мысль мелькнула у меня... да нет, тень мысли, дуновение мысли. Нет, просто некий летучий образ проплыл перед моими глазами, вот я и подумала... Вот так, подумала, и тамплиер, восклицая религиозные лозунги, вел свою братию в крестовый поход на нашу разоренную землю – отвоевывать у сарацин Гроб Господень. Мешки денег и Гроб Господень... Образ мелькнул и померк. Дребезжание жарких паров Иудейской пустыни.

Поскольку с нами был и Люсио, спокойно этот поход в ущелье пройти никак не мог. Началось с того, что, ступив на тропу, карлик якобы споткнулся и кубарем покатился вниз, на ходу сшибая коллег. При этом он визжал как резаный. Но странное дело: подпрыгивая, валясь на землю, катясь, как веретено, вереща и вопя, он вроде и не ушибся. И когда поднялся, деловито отряхиваясь, физиономия его сияла злорадством.

Всем остальным пришлось хуже. Брурия, упав, подвернула ногу.

– Идиот!!! – крикнула она с ненавистью, непропорциональной событию.

К тому же это слово звучит на иврите в абсолютно одесском варианте: «Идьёт, идьёт!» – выкрикнула Брурия, поджимая ногу и закатывая глаза от боли.

Тот, не оборачиваясь, помчался вниз, на ходу крича:

– Дорогая, ты будешь цаплей в нашем живом уголке!

Тогда впервые я подумала, что «наших испанцев» связывают, возможно, отношения давние и не вполне коллегиальные.

То, что называлось живым уголком, открылось неожиданно слева, под горкой. Небольшая территория, откусанная от горы ковшом экскаватора, была огорожена зеленым заборчиком. Под навесом в неглубоком бассейне плескалось с десятков уток и лебедей. Павлин важно волочил по тени свой хвост, как полусложенный испанский веер. В двух больших загонах метались козы и косули, в дощатом сарае перекрикивали друг друга петушки разных пород. Кроме того, по утопанной глине двора прогуливались осел и кряжистый мохнатоногий пони.

– Вот оно, величие ущелья! – закричал Альфонсо. – Вот оно, величие человеческого разума, победившего мать-природу!

И, как воплощение человеческого разума, победившего мать-природу, к нам вышел из дощатой пристройки очень смуглый, кряжистый, как пони, кибуцного вида человек. Хозяин всей этой живности, Моше. Он и оказался бывшим кибуцником. Синие глаза в глубоких морщинах.

Что-то мне все это страшно напоминало, и когда Моше почтительно зазвал всех под навес, где на деревянных столах стояли бутылки с кока-колой, орешки на тарелках, обдутые сухим ветром пирожки с картошкой, – когда он зазывал нас, как-то оперно протягивая руки («Жизель»? Что? Что?), – я еще не нащупала, не нашла след, меня еще не ослепили детали...

И только когда Люсио, вспрыгнув на скамейку, отхватил зубами кусок пирожка в поднесенной ко рту руке Альфонсо, а тот, захохотав, шлепнул его по загривку, – я остолбенела, замерла, залюбовалась мгновением, осветившим весь сюжет, поняла – где я, кто я, ощутила в ладони крестовину с повисшей на нитях куклой-марионеткой...

О, наслаждение **угадавшего**, доступное лишь нюхачу вроде меня, шастающему по задворкам чужих кухонь! Вот оно, вот оно – куклы-марионетки, и все у меня в корзинке: достану какую захочу и разыграю спектакль. Но о чем? Что я представлю?

«Рыцарский двор» – вот что это будет! Тут же возникли передо мной наши четверговые заседания за длинным столом – ни дать ни взять, рыцарское застолье.

Вот что все это было: славный рыцарь Альфонсо, сеньор, со всем своим двором выехал на охоту в своих угодьях. При нем телепается шут, умный, нервный и злой; шут Люсио, так напоминавший мне карликов великого Веласкеса! Тут были и благородные дамы, и знатные господа, и прочие вассалы... И каждому, каждому из нас, дворни, можно было подыскать подходящее занятие и должность при дворе сеньора Альфонсо, рыцаря.

Вот Ави, «блюстителю бассейна», опрятный человек. Аккуратно выбритое смуглое личико, отглаженная рубашка с короткими рукавами и неизменная папочка под мышкой: что за счета, о боже, что за списки, что за должники бассейна томятся в этой папке?

Завхоз Давид, славный малый с карандашом за ухом, в руке – то молоток, то плоскогубцы. Кем мог он быть при дворе сеньора Альфонсо – конюшим? Смотрителем ружейных мастерских?

Сутулый длинный Шимон, похожий на непропеченный коржик, – кто он при господине? Лекарь? Писарь? Повар? Дворецкий?

И многие дамы в свите – Отилия, Брурия, высокородная дама Адель, юные девицы Жаклин и Шушана, вечно перешептывающие сплетни Матнаса, и прочая шушера... – всем им найдется занятие и место при дворе благородного сеньора.

Ну а я-то, я? Кто я и что в этом полном челяди замке славного рыцаря Альфонсо? Всем чужой пришелец – трувер? трубадур? миннезингер? хуглар! – находчивый и беззастенчивый, отлично знающий свое дело и готовый покинуть владения сеньора, как только его ненасытному воображению наскучат обитатели замка...

Вот его милость выехал на псовую охоту. Шумная кавалькада гостей, егеря, конюхи, загонщики, псари. Копья в руках его знатных гостей, плюмажи на шляпах, поддуваемые ветерком, пышные сборчатые рукава охотничьих костюмов – бархат, шелка, вонь немых тел... и великолепная упряжь на конях. Егеря-загонщики ведут своры собак. Трубит рог – свора рвется вперед, и вот уже мчится на охотников выгнанный из леса кабан, роняя клочья пены с клыков... (Кстати, роняет ли клочья пены с клыков загнанный кабан? Понятия не имею!)

А может, это – соколиная охота в полях? Вот он, красавец сокол – целое состояние! – сидит у сокольника на руке, одетой в кожаную перчатку. Под кожаным колпачком упрятана голова птицы. Загонщики скачут по полю во весь дух, поднимая дичь – зайцев, лис, птиц... Еще минута, и с головы сокола снят колпачок, он взмывает в воздух, несколько мгновений висит, распластанный, оглядывая округу, и камнем падает вниз, на жертву, терзая ее когтями и клювом.

Нет, это – загонная охота в лесах на берегу реки, на огороженном участке. Туда уже запущены звери из хозяйского зверинца, завезенные из южных стран: две пантеры, лев... Знатные вельможи занимают места в хорошо укрепленных убежищах. Трубит рог. Трещат трещотки, оглушительно лают псы, вопят загонщики. Обезумевшие от криков животные бегут, бегут... и попадают на верную смерть, под рогатину, или копьё, или под тучу стрел из арбалета...

И вот уже добыча поделена между вельможами; привал в лесу, охотники на привале... (Стоп, это изложение по картине «Охотники на привале»? Кто-то лежит, кто-то чешет в затылке? Нет, другая эпоха, другие лица, другой климат – прочь, мусорное видение пятого класса школы номер сто семьдесят пять Чиланзарского района города Ташкента!)

И Моше, похожий на лесничего из «Жизели», выходит встречать своего господина.

...Моше почтительно выслушивал восклицания Альфонсо, время от времени вставляя свою единственную просьбу: ему было важно, чтобы Матнас распространял по школам субсидированные билеты на посещение этого крошечного зоопарка.

– О чем ты говоришь! – перебивал Альфонсо. – Мы организуем здесь концерты классической музыки! Здесь будут звучать Бах, Гендель, Моцарт!

В этот миг осел, привязанный к деревянным столбам навеса, задрал голову, отфыркался и закричал, раздувая ноздри, истошным ором молодого самца. Его вопль катился по ущелью, как железнодорожный состав, грохочущий на стыках рельсов.

– Это Гендель, – проговорил серьезно Люсио, дождавшись, когда смолкнет эхо. – Бах – тот помощнее будет...

Он отрешенно глядел вдоль по дну ущелья, куда прокатился ослиный икающий рев, – так смотрят вслед уходящему поезду. Его асимметрично оплывшее лицо со срезанным подбородком, стекающим в жирную шею, сейчас не казалось мне таким отталкивающим – это был миг, когда я поняла, что Люсио, пожалуй, умнее не только своего господина, но и всей дворни,

этой своры бездельников и прилебателей, ошивающихся в комнатах, коридорах и службах Матнаса – белого приземистого замка на отшибе городка.

Глава пятая

*Другие ж в менестрели подрядились
И добывали хлеб веселой песней,
За это их никто не обвинит.*

Вильям Ленгленд. «Видение о Петре Пахаре» (1362 г.)

Часов в пять вечера обычно раздавался грохот, топот и гогот, визг, вой и сотрясение стен. – Мбтэки¹ идут, – говорила Таисья обреченно. – В белом венчике из роз впереди – Иисус Христос.

Процессии «мбтэков» и правда всегда возглавлял Люсио, как и все их оглушительные забавы. Надо отдать ему должное: Люсио был прирожденным вожаком, любимым атаманом жалких, наглых, жестоких и несчастных существ, какими бывают, как правило, подростки от двенадцати до семнадцати лет. Что-то он различал в их душах, помогая не только укрыться от этого безжалостного мира, но и совершать из своего укрытия внезапные набеги, подчас опустошительные. На всех этажах, на площадках, во всех закутках Матнаса можно было наткнуться на облепленного душераздирающими язвами или окровавленного, с разверстой раной во лбу семиклассника, который с восторженным воем представлял перед вами во всем великолепии бутафорского мастерства Люсио.

Они его обожали. На стадионе за Матнасом целыми вечерами они гоняли восхитительно кошмарных бумажных змеев, сработанных блистательным бутафором, – ослабленные черепа, хохочущие монстры с вытекшим глазом, мордороты с высунутыми обрубками языков реяли в зеленом эмалированном небе над карминной черепицей пасторального городка.

Однажды, проходя мимо раскрытых дверей «молодежной» комнаты, я подсмотрела, как Люсио показывал – именно показывал – компании подростков бой быков.

– Пробило четыре! – восклицал он. – Время корриды де торос! Публика заполняет ряды, на солнечной стороне блестят потные лица, в тени дамы накидывают на плечи шали и шарфы... Вот играет кларин: ту-ту-ту-у-р-р-р, – Люсио приложил ко рту свернутую в трубочку ладонь и изобразил звук рожка настолько точно, что я так и осталась досматривать этот спектакль.

– Сначала – пасейльо! Под звуки пасодобля на торжественный парад выходят на арену матадоры. Их костюмы расшиты блестками и пересверкивают на солнце. За ними следуют их квадрильи: три бандерильеро в красно-золотых плащах, три конных пикадора и прочая прислуга – моносабыос, они ведут лошадей пикадоров; мулильерос, те уволочут бычью тушу; пунтильерос – он убивает быка кинжалом, есть еще пеон – пеший тореро...

¹ М о т э к и – сладкие (*иерит*).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.